

# Часть первая

*Гертруденберг, 1 октября 1572*

Хочу записать все, что случилось.

Мы выехали из Тургаута до рассвета, приказав седлать лошадей, когда была еще глухая ночь. День наступал медленно, ибо с низин поднимался густой туман. Он охватывал нас, как мокрое платье, и пронизывал до мозга костей. В воздухе было холодно и сыро. Стоял уже октябрь. Дыхание наших лошадей вырывалось из их ноздрей, как дым. Со спин у них струилась вода, а сбруя блестела от мелких капель. До чего ни дотронешься — все мокро, повод прилипает к кожаной перчатке.

Люди садились на лошадей с сдерживаемой бранью. Я понимаю их чувство. Было самое начало зимы, и до наступления весны придется мириться и с холодом, и с мраком, если нас не убьют к тому времени. И хотя выругаться иной раз и хорошо, однако это не может изменить дело и разогнать осенний туман в Голландии.

Мы мрачно ехали в этом странном полусвете — ни день, ни ночь. Люди, ехавшие в авангарде, смутно виднелись передо мной на дороге. На их шлемах и оружии дрожал слабый, трепещущий отблеск, то появлявшийся, то исчезающий, смотря по тому, выезжали они из тумана или опять погружались в него. За ними мир, казалось, расплывался в какой-то хаос. Все это мне приходилось видеть в Голландии не в первый раз. И, однако, я помню каждую подробность нашего пути в это утро, быть может, вследствие тех происшествий, которые разыгрались потом.

Время от времени по дороге показывалось неясное очертание дерева, проплывавшее мимо нас, словно какая-то тень, с соседнего поля поднималась стая ворон, вспугнутая нашим появлением, и, будучи невидима, проносилась над нашими головами. Затем опять нависала тишина, и ни один звук не прерывал ее, кроме случайного позвякивания оружия и шлепанья лошадиных копыт по грязи.

Мы почти никого не встречали на нашем пути, а если и встречали, то всякий боязливо бросался в сторону, уступая нам дорогу. Эта часть Брабанта всегда была довольно безлюдна, а за последние годы стала

еще безлюднее. Лишь изредка мы проезжали мимо какой-нибудь дереvушки. Одна половина их была разграблена и сожжена «лесными ребятами», а другая нашими войсками, преследовавшими этих «лесных ребят». Немудрено, что встретить деревню теперь было трудно.

Иногда вдруг перед нами выплывала группа лошадей и через минуту исчезала опять, как будто их и не было. Не было видно никаких признаков жизни, никто не приветствовал нашего появления. Мы проезжали словно по мертвому царству, не слыша даже сдержанной брани или проклятия. Молча ехали мы по пустынным улицам, словно привидения, не оставляя за собой никакого следа.

Наша задача влекла нас дальше.

Бреда осталась у нас слева в нескольких милях. С этого места мы должны были ехать проселочными дорогами. И наши проводники могли бы отлично сбить нас с дороги, но они были слишком запуганы. Мы возвращались после взятия Монса и гнали разбитые остатки армии принца Оранского обратно к Маасу и Рейну, словно собак к их конурам. Никто не посмел бы оказать сопротивление испанцам по ту сторону великой реки.

Мы упорно ехали вперед с самого рассвета, но перемен никаких не было. Мы были в пути уже четыре часа, и лошади стали ослабевать. Но мы дали им отдохнуть до того и не обращали на них внимания. Приказано было ехать безотлагательно и без проволочек.

Чем дальше мы ехали, тем дальше стлалась перед нами дорога — короткая полоска, затерявшаяся в бесконечной дали. Можно было сказать, что за ней лежит целая вечность. А может быть, и вправду вечность — по крайней мере для некоторых из нас.

Во время пути было запрещено громко разговаривать. Впрочем, в таком запрещении не было и надобности: и без того никто не был расположен к этому.

Странные фантазии навевал этот туман на человека: разрывая его пелену, так плотно покрывавшую весь мир, вдруг показываются облики тех, кого считал уже давно умершим и похороненным,— любимой женщины, с которой ты поступил нехорошо, врага, убитого нечестно,— каждый из нас испытывал что-нибудь подобное.

Все было серо и холодно. В эту проклятую погоду можно проскакать несколько миль и не согреться. А будешь только дрожать в седле.

Итак, мы тащились уже давно, а густой туман по-прежнему висел

над нами, как будто собираясь оставаться здесь до самого Страшного суда. И вдруг произошла перемена.

Ночью шел сильный дождь. Лужи воды стояли на дороге, отражая серый, пасмурный свет. Я ехал впереди с целью разведать местность, лежавшую перед нами, хотя это казалось напрасной попыткой. Вдруг я заметил, что по дороге скользнул какой-то свет. Он задрожал на поверхности воды и пробежал по ней, словно расплавленное серебро.

Я взглянул на небо. Воздух сделался светлее; светлее от того самого серебряного света, который я заметил на воде. Он становился все ярче и ярче, серебро превращалось в золото. В эту минуту туман, закутывавший все, разорвался на две части, и перед нами показались темные силуэты стен и башен города, который, казалось, был построен на зыбучем тумане. Это продолжалось с минуту. Затем видение исчезло, и все стало опять так же серо и однообразно, как было прежде. Башни казались совсем близко от нас. Теперь же они виднелись за несколько миль от нас. Я невольно натянул покрепче повод, когда видение явилось перед нами. Без сомнения, то же сделали и мои люди. Но они были так дисциплинированы, что без приказа не смели замедлить рыси.

— Что это — город? — спросил я солдата, ехавшего рядом со мной.

Он бывал раньше в этих местах, и я рассчитывал, что он знает местность. С нами были и проводники, но я всегда предпочитаю обращаться с вопросами, если возможно, к своим солдатам.

— Да, синьор, — отвечал он тихо, упавшим голосом.

По-видимому, долгий путь на рассвете в холодную погоду оказал на них всех угнетающее действие.

— Далеко до него? — строго спросил я.

— Неизвестно, — тем же унылым тоном отвечал он. — Казалось, он совсем близко, но что можно сказать при таком дьявольском тумане, который в этой стране может сбить всякого с пути спасения, хотя бы он и был рядом.

— Если тебе удастся попасть на небо, то только в такой день, как сегодня. В тумане тебя не выгнали бы за ворота рая, — раздраженно заметил я.

Это был солдат, поседевший в боях, знающий свое дело, но на его совести лежало больше грехов, чем можно было сосчитать.

— Предоставь спасаться святым, если им охота браться за такое трудное дело. Лучше сообрази поскорее, сколько нам еще остается до

ворот города.

Старый солдат выпрямился на седле.

— Постараюсь, синьор, но это не так-то легко. Этот проклятый туман может сбить с толку не то что человека, но и самого дьявола.

И он принялся внимательно осматривать местность. С первого взгляда она была такая же, как и прежде, час тому назад. Низкая желтоватая трава, время от времени группа ив, через значительные промежутки толстое дерево. Однако он, видимо, узнал местность по приметам, известным ему одному. Он стал украдкой креститься и пробормотал несколько слов, которые я не расслышал. Потом он сказал:

— Мне кажется, что мы будем у ворот минут через десять, синьор, если будем ехать тем же аллюром. Может быть, впрочем, придется ехать и дольше, но никак не меньше.

Он ехал, разговаривая тихо сам с собой:

— Я принес хороший дар святому Иоанну и Богородице Турнайской. Что же еще могу я сделать?

Эта местность, очевидно, вызывала у него множество воспоминаний.

Я прервал поток его воспоминаний, неожиданно повернувшись и скомандовав тихим, но строгим голосом:

— Сомкнись! Смирно и держись наготове!

Он сказал: «Через десять минут». Возможно, что и меньше. Я не мог знать, что нас ожидает. Если вас посылают с небольшими силами привести к повиновению непокорный город, то приходится стараться, чтобы с самого начала не попасться впросак.

Не прошло и десяти минут, как вдруг перед нами все потемнело. Через минуту перед нами зияла огромная черная дыра. То были городские ворота. Туман врывался в них и снова выплывал оттуда, все было безмолвно и пустынно. Моя рука инстинктивно схватилась за меч, но я отдернул ее: я готов был на всякое сопротивление, но не ожидал его в этих безлюдных и безмолвных местах.

Казалось, мы въезжаем в город мертвых. С самого раннего утра мы ехали во мраке и теперь, казалось, переходили пограничную линию, отделявшую свет от тьмы. Все это было причудливо и фантастично, как сон. Я чувствовал какое-то странное желание остановиться здесь же и не идти дальше навстречу неизвестному. Но что-то толкало меня дальше, и мы проехали под мрачными сводами ворот, под которыми еще горел одинокий фонарь. Путь наш лежал по темным безлюдным

улицам, окаймленным безмолвными домами, очевидно, покинутыми своими обитателями. Мы инстинктивно ехали медленно.

Улица, на которую мы выехали, была довольно широка, так что верхушки ее домов терялись в тумане. Иногда, когда туман поднимался или спадал, глаз охватывал весь дом от нижнего этажа до деревянного верхнего. Двери и окна были закрыты, когда мы проезжали.

Конечно, тут должно бы оказаться немало любопытных, ибо в моем лице въезжала в город его судьба — милостивая или грозная, смотря по моему желанию. Но нигде не было и признаков жизни, ни один звук не заглушал глухого стука подков наших лошадей о мостовую. Подозревая ловушку, я уже готов был скомандовать «стой!», но я уверил себя, что на это они не решатся. Молча ехали мы дальше из одной улицы в другую, руководимые чем-то, чего я не сумею определить. Я думаю, что это-то люди и называют судьбою. Наконец мы скорее почувствовали, чем увидели, что улица перед нами расширяется, и, словно с общего согласия, потянули повод.

В эту минуту серая пелена как будто отодвинулась в сторону. Это было уже второй раз в это утро. Над нами пронеслось резкое дуновение ветра, расчищая перед нами пространство, и между плывшими кусками рассеивавшегося тумана показались три высоких черных столба, мрачно поднимавшихся к светлеющему небу. Вследствие серебристого тумана, который их еще окружал, я скорее угадал, чем увидел их.

Через несколько минут все разъяснилось. Мы стояли на краю базарной площади, а перед нами поднимался эшафот с тремя виселицами. К среднему была привязана женщина с густыми темными волосами. Словно затравленный зверь, она дико смотрела по сторонам. Ее шея и руки были открыты. Рубашка кающегося грешника составляла ее единственное одеяние. Руки и ноги ее были привязаны веревками к столбу. Она была высокого роста, с красивым и гордым лицом, которое было бледно, как у мертвеца. Глаза ее расширились от страха. Когда они встретились с моими, я прочел в них призыв на помощь, выраженный с такой силой, что мне никогда не приходилось прежде видеть ничего подобного в человеческих глазах. Она напоминала кого-то из знакомых мне, хотя я и не мог сказать, кого именно.

Реального сходства с кем-либо не было.

Другая жертва, с правой от нее стороны, была старуха с редкими белыми волосами, с искажившимися от пыток и страха смерти чертами.

Что касается третьей жертвы, то трудно сказать, был ли то мужчина или женщина. Страдания сделали из него нечто неузнаваемое. Голова его упала на грудь, и он, по-видимому, находился без сознания.

Тут же был и палач с своими орудиями пытки, а в двух шагах от него стоял монах, руководивший всем этим делом, с бледным, изможденным лицом и глубоко посаженными, горящими глазами. Несмотря на строгое выражение его лица, вокруг его рта лежала какая-то складка, которая говорила, что он остается мужчиной со всеми страстями, свойственными мужчине,— наполовину аскет, наполовину жертва чувственных желаний. Этот именно тип монаха обыкновенно преследует женщин и, насладившись ими, отправляет их на костер. Обыкновенно инквизитор не должен был присутствовать на эшафоте, но в Голландии теперь не приходится думать о строгом соблюдении формальностей. Да и, кроме того, у него, очевидно, были свои причины для этого. Внизу эшафота жидкая линия солдат едва сдерживала возбужденный народ, приливавший, словно взволнованное море, к столбам, на которых был укреплен эшафот.

Таинственность, которой сопровождалось наше вступление в город, и безлюдье, царствовавшее всюду, теперь нашли свое объяснение. Все стекались сюда взглянуть на зрелище, а может быть и не для того только. Стража, очевидно, ушла от ворот сюда же. Что могло произойти, если б мы не явились вовремя, я не берусь сказать. Толпа, видимо, была настроена враждебно. Но кто может угадать, что будет делать толпа? Она приходит в ярость или поддается страху благодаря какому-нибудь звуку, одно слово может разнуждать или устрашить ее.

Угрюмо и неподвижно сидели мы в седлах. Тусклый утренний свет едва поблескивал на оружии и шлемах.

Народ увидел нас, и в толпе вдруг поднялся ропот. Напор толпы остановился, как по мановению волшебного жезла. Все взоры устремились на нас со страхом и удивлением. Наступил решительный момент. Я до сих пор вижу три фигуры у позорного столба и монаха, как хищника, караулившего свою добычу. Внизу темная масса народа, двигавшегося туда и сюда по площади, вверху бесстрастные к сутолоке у их основания крыши и шпили домов, позлащенные восходящим солнцем. Во главе моих закованных в железо солдат я безмолвно стою, держа в своих руках нити судьбы.

Я заметил, что свет распространяется все более и более. Я видел, как

крыши из серых делались постепенно оранжевыми, пока не загорелись огнем. Я видел, как пламя загоралось в окнах, обращенных к востоку. Но на площади еще царил полумрак. На нас падало лишь слабое отражение зари, отчего белое платье женщины у позорного столба казалось еще белее.

Я уже поймал однажды ее взгляд. И опять мне стало казаться, что она упорно зовет меня, и я как-то странно вздрогнул от этого призыва. Я считал себя твердым, и обращенные ко мне просьбы не раз оставались без последствий. Этому я обязан тем, что так быстро возвысился по службе. Не раз приходилось мне видеть, как сжигали людей, и я смотрел на это зрелище спокойно и равнодушно. Но на этот раз я решил,— сам не знаю почему,— что ее нужно спасти. Быть может, мне показалось слишком соблазнительным заставить судьбу покориться моей воле. Быть может, мне захотелось видеть, как далеко может пойти моя власть. Я уже давно привык ставить власть превыше всего. А быть может, я был лишь бессознательным орудием судьбы, помимо моей воли.

Я хотел спасти ее здесь же, на эшафоте, в самый момент торжества монаха. Это была опасная затея — в тысячу раз более опасная, чем столкновение с раздраженной толпой, запрудившей площадь и прилегающие улицы, насколько хватал глаз. В шуме толпы слышалась угрожающая нота, которая свидетельствовала, что народу надоели пытки и позорные столбы. Иногда он проявлял и сопротивление, но скоро понял, что от этого дело только ухудшается. Они явились сюда с оружием и хотя отступили перед нами, однако лица у всех были нахмурены, а губы плотно сжаты.

Тут нашлось бы достаточно рук стащить нас с седел, чтобы потом растоптать нас насмерть, если б только они посмели. Но они не посмели, ибо мы были испанцами — имя ненавидимое, но и страшное, как террор.

Народ не пугал меня, но в лице этого священника передо мной стоял член святой церкви, исполнявший одну из самых дорогих его сердцу обязанностей. Всякий знает, что это значило в царствование Филиппа II. Я был не безоружен перед нами, но все-таки спорить с ним было чрезвычайно опасно. Но я проехал с герцогом Альбой от Средиземного моря через всю Европу до Нидерландов и, что бы ни говорили про него, должен сознаться, что он выучил своих людей искать опасности и

ухаживать за ними, как за женщинами.

Еще раз я посмотрел на дрожащую толпу и на доминиканца, спокойно и бесстрастно стоявшего у столба, и скомандовал:

— Трубы!

Звонко и резко звучали трубы, пока мы медленно двигались вперед. Народ давал нам дорогу, и вот, наконец, мы посередине площади.

— Дон Рюнц де Пертенья,— громко сказал я, нарочно стараясь говорить так, чтобы меня было слышно везде,— прочтите данный мне приказ.

Дон Рюнц, мой лейтенант, взял бумагу, которую я ему передал, развернул ее и стал читать:

«Именем его величества короля Филиппа II, обладателя Испании, обеих Сицилий и Индии, герцога Миланского и Брабантского, графа Артуа Голландии и Фландрии, да сохранит его Бог, и в силу полномочий, предоставленных нам, как главному правителю Нидерландов, мы сим назначаем дона Хаима де Хорквера, графа Абенохара, губернатором города и округа Гертруденберга со всеми гражданскими и военными полномочиями, ответственным после нас только перед королем.

*Дан в Монсе 20 сентября 1572.*

*Фернандо Альварец де Толедо, герцог Альба, правитель  
Нидерландов».*

Когда дон Рюнц окончил чтение, водворилась глубокая тишина. Все стояли, сбившись в кучу, как овцы при внезапном появлении волка. Я посмотрел на них с минуту, наслаждаясь их страхом, и сказал:

— Кто до сего времени управлял городом?

Сначала ответа не было. Наконец сквозь толпу стал протискиваться высокий старик с длинной белой бородой, одетый в черный бархатный камзол, с золотой цепью на шее. В то же время на небольшое свободное местечко, которое образовалось перед нами, вышел офицер, командовавший солдатами у эшафота. Оба они остановились и



оглядывали друг друга.

Вопрос о том, кто раньше был правителем, обыкновенно возбуждал в таких случаях немало споров. В большинстве случаев горожанину приходится уступать солдату как здесь, так и во многом другом. Представитель города не имел вида человека, который забывает о своих правах и достоинстве, но он понимал, что теперь не время говорить об этом. Командир гарнизона, вышедший из простых солдат, колебался, не зная, что ему делать. В эту минуту седобородый бургомистр находчиво показал ему рукой стать рядом с ним и сказал:

— Синьор Лопец, не угодно ли вам будет присоединиться ко мне, чтобы приветствовать прибытие господина губернатора.

Подойдя ко мне, он снял шляпу и вежливо поклонился — я убежден, что в его жилах есть капля испанской крови,— и сказал:

— Позвольте почтительнейше и достоительно приветствовать ваше превосходительство с прибытием в добрый и верный город Гертруденберг. Позвольте заверить вас в полном нашем послушании, как повелевает нам наш долг, его величеству королю на земле и Господу Богу на небесах. Я прошу извинения в том, что вам пришлось прибыть среди события, которое плохо согласуется с чувствами радости. Если б мы знали заранее о вашем прибытии, то, несомненно, мы встретили бы вас более подобающим образом. Синьор Лопец, командовавший вооруженными силами короля в нашем городе, представится вам сам. Я же готовый к услугам вашим первый бургомистр города Гендрик ван дер Веерен.

Это была хорошая речь — учтивая, без подхалимства. Я готов поклясться, что во фразе, где говорилось о чувствах радости, была скрытая ирония. Мне этот старый бургомистр все более и более начинал нравиться. Вот человек, который не был солдатом, который, может быть, просидел большую часть жизни над тюками с товарами в каком-нибудь складе, но в котором оставались и находчивость и мужество перед лицом опасности. Город и он сам были в полной моей власти, а что значила власть ставленника герцога Альбы, почувствовал не один город, верность которого была подвергнута подозрению.

Он нравился мне, потому что мне до тошноты надоели униженные уверения в преданности, с которыми меня встречали всюду на моем пути от Монса. Но мне нельзя было обнаруживать своих чувств. Я должен был держаться бесстрастно и строго.

— Ваша речь хорошо вторит мирной мелодии. Благодарю вас. Но я не уверен, что меня приняли бы так мирно, если б я заранее известил вас о своем прибытии,— сказал я, холодно взглянув на него.

Он слегка побледнел.

— Мое дело — ведать мирные дела, и я приветствовал бы вас так же. Военные дела касаются не меня, а синьора Лопеца.

Опять хорошо сказано.

Я повернулся к командиру гарнизона, который отдал мне честь и стоял безмолвно, невольно отступив перед ван дер Веереном на второе место. Встретив мой взгляд, он встрепенулся и вышел вперед.

— Позвольте вас спросить: всегда ли вы считаете туман наилучшей охраной для доброго города Гертруденберга? Другой охраны я не встретил при моем прибытии.

— Ваше превосходительство, стража у ворот была поставлена, как всегда, в уменьшенном числе. Я не могу понять, почему вы не нашли людей на их посту. Остальные мои силы — они, как изволите видеть, очень невелики — я стянул сюда на аутодафе по приказанию досточтимого дона Бернардо Балестера.

— Это ваш командир, этот дон Бернардо Балестер? — спросил я.

— Ваше превосходительство... — залепетал он, выпучив на меня глаза.

В эту минуту монах, очевидно слышавший наш разговор, медленно подошел к краю эшафота. Важно поклонившись, он сказал:

— Дон Бернардо Балестер — это я, недостойный брат ордена святого Доминика, синьор. Я послан сюда инквизитором, чтобы очистить эту общину от скверны. Прошу не гневаться на этого достойного офицера. Все, что он делал, делалось в соответствии с моими желаниями, для которых у меня имеются основательные причины.

Он говорил это с такой уверенностью, как будто синьор Лопец и я сам были посланы сюда только для того, чтобы угождать ему во всем. Я вспомнил,— я не раз слышал это от герцога, да и слышал неоднократно в дороге, пока ехал сюда из Брюсселя,— что этот монах был рекомендован епископом рермондским Линданусом, который воображал, что он может представлять церковь так, как это было при Иннокентии IV, когда король с покорностью принимал всякие распоряжения папы и его легатов. Но с тех пор времена переменились, и

сам Линданус скоро почувствовал это. Наши мечи поддерживали церковь, ибо такова была воля короля. Но мы вложили бы их в ножны, если б приказание было изменено.

Я с высокомерной снисходительностью ответил на поклон монаха и сказал:

— Я надеюсь, достопочтенный отец, что вы имеете надлежащие полномочия, которые дают вам право так действовать. Позвольте спросить, в чем обвиняются эти три лица.

— В служении дьяволу и черной магии, синьор.

Это было страшное обвинение. Если б это было нечто обычное — вроде того, что человек присутствовал на собрании кальвинистов, что считалось государственным преступлением, то я мог бы, не церемонясь, вырвать это дело у монаха. Инквизиторам не приходилось спорить со светскими властями о пределах их компетенции, и губернатор может многое сделать, особенно здесь, в Голландии. Но обвинение в ведовстве подлежало исключительно церковной власти.

Впрочем, сообразив, я даже обрадовался, что дело идет о ведовстве. Ведьмы не составляли секты, которая грозила бы существованию церкви, и потому на меня не могло падать подозрение, что я покровительствую еретикам. Кроме того, в некоторых делах мы в Испании держались гораздо более просвещенных взглядов, чем здешний народ.

Как бы то ни было, я решился спасти ее.

Монах сказал «черная магия».

— Это весьма серьезное дело, достопочтенный отец,— отвечал я.— Но почему на казнь этих вредных лиц вызвали весь гарнизон? Ведь эта казнь должна была бы доставить удовольствие всем добрым католикам. Надеюсь, что этот город не гнездо ведьм и анабаптистов?

— Нет,— отвечал бургомистр.— Поверьте мне...

— Не очень-то ему верьте,— вскричал монах.— Тут царит дух неповиновения, еретики и ведьмы так и кишат и находят себе поклонников во всех классах. Но здесь правосудие уже свершилось, и ничья рука не может остановить его.

Я стиснул зубы и улыбался про себя, думая, что он может еще сказать. Инквизиторы не привыкли, чтобы у них вырывали их добычу. Я еще не совсем разгадал этого человека. Женщина отличалась поразительной красотой, и ревностному инквизитору, к услугам

которого в Голландии целые стаи еретиков, не долго приходится искать ведьм.

Монах, впрочем, еще не кончил.

— Я прошу вас исполнить ваш долг,— говорил он, обращаясь ко мне.— Я требую правосудия. В ваших руках меч. Припомните — им вы должны разить. Грех против святой церкви вопиет об отмщении. Исполните ваш долг!

— Я исполню свой долг и без вашего напоминания об этом, достопочтенный отец,— холодно отвечал я.— Мин хер ван дер Веерен, — продолжал я, обращаясь к бургомистру, который молча слушал нашу беседу; я знал, что он прислушивался к ней с жадным любопытством,— вы слышали, какие обвинения против вас и вашего города были заявлены достопочтенным отцом, пекущимся о спасении ваших душ. Что вы можете возразить?

В моем взгляде и голосе, очевидно, было одобрение.

— От имени города и от себя самого я почтительнейше протестую против заявления достопочтенного отца. Мы гнушаемся ведьм и всяких учений, отвращающих от истинной веры. Наш город — гавань, и к нам приезжают люди из других местностей, за которых мы не можем отвечать. Все остальное население — честные граждане. И да позволено мне будет сказать, достопочтенный отец чересчур далеко заходит в спасении наших душ. Мадемуазель Марион де Бреголль,— он указал на женщину в середине,— известна как особа вполне добродетельная, и народная молва говорит, что достопочтенный отец введен в заблуждение злыми языками и ложными свидетельствами. Говорят еще и другое, чего я не могу здесь повторить.

По мере того как он говорил, он становился все смелее и смелее.

— Мы обращаемся к вам с просьбой о том, чтобы процесс был пересмотрен. Мы все, не только народ, но и городской совет, уверены, что тогда невиновность, несомненно, будет обнаружена. Мы также просим о правосудии.

Он преклонил передо мной колени и поднял руки. Ветер играл его длинной седой бородой. Сзади него безмолвно стояла густая толпа народа. Все глаза были устремлены на меня, в чьих руках была жизнь и смерть. В глазах доминиканца светился злой огонек, пока бургомистр говорил. Но теперь он потух, и монах холодно сказал:

— Их языки изрыгают хулу, ваше превосходительство. Как вам

небезызвестно, судопроизводство инквизиции — тайное, и его нельзя объяснять всем. Ее приговоры окончательны, и против них нельзя возражать. Эта женщина осуждена на основании вполне надежных свидетельств в числе, даже превышающем положенное. Кроме того, она созналась, хотя сатана укрепил ее сердце и она не принесла покаяния.

Я глядел на нее во время этой речи, но не мог решить, слышала она это или нет. Она стояла к нам спиной, и ветер дул с нашей стороны, и она не могла говорить.

— Ее признание, конечно, внесено в протокол суда? — спросил я.

— Я его не видал! — вскричал бургомистр, все еще стоявший на коленях.

— Внесено ли оно в протокол или нет, но факт остается фактом, — строго сказал монах. — Я уже сказал, что она созналась. Что же касается этого человека, то вы слышали его слова. Он изобличается ими в бунте против церкви и в ереси. Я прошу арестовать его и доставить его на суд церкви.

Это был истый монах, из породы тех, которые не уступают ни шагу, хотя бы под их ногами раскрывалась пропасть. Школа Линдануса сильно отразилась на нем. Его холодная и высокомерная надменность, без сомнения, заставляла повиноваться ему многих, но не меня.

— Насколько я могу понять, вы просили о правосудии, достопочтенный отец, и вам оно будет оказано. По крайней мере то правосудие, на которое можно рассчитывать на земле. Что же касается полного правосудия, то вам придется подождать его до Страшного Суда. Мадемуазель де Бреголь, — крикнул я звонким голосом, который был слышен по всей площади, — вы действительно сознались? Отвечайте мне откровенно.

Неподвижная фигура у столба вздрогнула, как будто бы жизнь вдруг вернулась в нее, и она громко и ясно отвечала:

— Никогда, даже на пытке я не признавалась, ибо я невиновна. Клянусь Господом Богом, к которому я готова отойти.

Доминиканец побагровел от гнева. Теперь я выбил его из его обычного спокойствия. Прежде чем он нашелся, что возразить, я заговорил сам:

— Все это очень странно. Я надеюсь, что почтенный отец имеет надлежащие полномочия в этом деле. Вам предъявлялись его грамоты? — обратился я к бургомистру.

— Он мне их не показывал.

— Как? Грамоты не были предъявлены? Мне приходилось слышать, что здесь немало шатается монахов, которые хвастаются будто бы данными им поручениями. Надеюсь, вы не принадлежите к их числу, достопочтенный отец?

Глаза монаха сверкали яростью.

— Берегитесь,— закричал он.— Вы очарованы лживой внушительной внешностью и гладкой речью служителя сатаны. Его голос для вас сладок, как мед, и ваши уши не замечают скрытого в нем яда и ожесточения. Вы очарованы, как птица, перед змеей. Берегитесь, говорю я. Неужели заведомая колдунья заслуживает большей веры, чем служитель святой церкви? Разве вам неизвестно, что всякий, кто вздумает подрывать приговор, постановленный инквизицией, тем самым навлекает на себя подозрение в ереси? Берегитесь, говорю вам.

Эти слова могли бы запугать многих, но не меня.

— Не старайтесь одурачить меня,— холодно сказал я.— Кто, кроме вас, присутствовал при разбирательстве этого дела?

— Никто. Да в этом и надобности не было.

— В силу закона вы не могли разбирать дело один. Кроме вас должен был присутствовать кто-нибудь из членов областного совета. Если не было такого члена, то какое-нибудь другое лицо, уважаемое и назначенное к тому советом! Отсутствие такого лица делает недействительным и приговор.

— Однако если такого лица нельзя достать, то на практике... Ибо закон...

— Мое дело не обсуждать закон, а заставлять его исполнить. Кто вам дал приказ вмешиваться в дела веры?

Он побледнел, видя, что я переменял с ним тон. Пора было кончать с этим делом.

— Досточтимый отец доктор Михаил де Бей, великий инквизитор,— отвечал он.

— Можете вы доказать это?

Он побледнел еще более.

— Что же из того, что у меня нет здесь доказательств? Разве мое имя и одеяние не служат достаточным доказательством?

— Нет, не служат. Иначе всякий монах в Нидерландах будет выдавать себя за инквизитора. Моя обязанность — беречь от

обманщиков церковь вверенного мне округа. Я не допущу ни одного инквизитора, если он не назначен надлежащим образом и не представит грамоты. Последний раз спрашиваю вас: есть ли у вас грамоты?

— Положим, что их у меня нет. Что же из этого? Я получу их в самом непродолжительном времени.

— В таком случае,— сказал я, возвышая голос так, чтобы он был всем слышен,— я объявляю приговор, произнесенный над этими лицами, уничтоженным. Дело, возбужденное против них, будет отложено до тех пор, пока его не возбудят вновь законно уполномоченные на то лица. Приказываю немедленно отвязать их от столба. Синьор Родригец,— сказал я, повернувшись к одному из моих офицеров,— понаблюдайте за исполнением моего приказания.

Но монах никак не хотел уступить. Он выставил вперед крест и, высоко подняв его, громко закричал:

— Их жребий брошен, и запечатана судьба их! Писано бо есть: не потерпи, чтобы колдунья была в живых! Освободить их было бы таким же святотатством, как прервать богослужение. Берегитесь! Вы боретесь с Господом, ваши распоряжения ничтожны, и никто не будет их слушать. Разве вы не видите: ангел Господень сошел с небес и держит свой меч над этой священной оградой, пока не искуплен будет грех и не очистится город! Это жертвы Господни, и горе тому, кто коснется их! Засохнет рука его, и проклятие падет на него в сей жизни и в вечной! Горе, повторяю вам!

Я улыбнулся. Мало же знал он испанских начальников, если он вообразал, что, сделав то, что я сделал, рискнув своей головой, я остановлюсь перед его декламацией и проклятиями. И я снова улыбнулся при мысли, что он сам дал мне отличное возражение против себя, сказав, что мои люди не будут мне повиноваться. Он может быть уверен, что я не забуду упомянуть об этом в письме к герцогу.

— Святой отец не вполне понимает, что говорит, очевидно, от поста и ночных бдений,— сказал я с презрением.— Исполняйте то, что я вам приказал,— повторил я офицеру.

Это довело монаха до бешенства. Он повернулся и крикнул палачу, чтобы тот делал свое дело.

Дело принимало решительный оборот. Родригец, слезший с лошади, стоял около нее в нерешительности и не двигался с места.

Я ожидал этого, зная, что в делах такого рода я не могу быть вполне

уверен в моих испанцах. Я нарочно дал приказание именно ему, не особенно важному человеку, которого я, конечно, не бросил бы среди дороги, но отделаться от которого я давно искал случая. Я не мог оставить его без наказания за ослушание, тем более что я знал настроение моих солдат — суеверие сидело в них слишком сильно.

К счастью, почти половина моего отряда состояла из немцев, которые вербуются за деньги во все страны. Они ревностные лютеране, и самому католическому из королей поневоле приходится мириться с этим, если он не может обойтись без них. Впрочем, они не особенно щекотливы в религиозных делах и готовы вести войну с самим Господом Богом, если будет приказано. Поэтому, когда им случается подцепить монаха, это только прибавляет им веселости.

Это различие вероисповеданий в войсках очень полезно для всякого, кто чувствует себя выше этих различий и умеет управлять обстоятельствами. Обыкновенно мои испанцы сердились, когда я в каком-нибудь особенном случае обращался к немцам. Теперь они могли только поблагодарить меня за это.

Тут были еще итальянцы синьора Лопеца и палач с его помощниками, но я плохо надеялся на них.

— Герр фон Виллингер,— обратился я к капитану немецкого отряда, стоявшему от меня налево,— распорядитесь, чтобы полдюжины ваших людей двинулись вперед, и проследите, чтобы мое приказание было исполнено.

— Слушаюсь, дон Хаим,— быстро ответил он и вызвал своих людей. То был человек, который любил в точности исполнять поручения.

— Синьор Родригец,— продолжал я,— вы считаетесь теперь под арестом. Дон Рюнц, потрудитесь завтра же устроить над ним суд по обвинению его в неповиновении перед лицом неприятеля.

Родригец побелел как полотно, зная, чем это может кончиться.

Увидев, что со мной шутки плохи и что тут не помогут ни крест, ни проклятия, инквизитор впал в отчаяние. Он еще раз приказал палачу зажечь костер, но тот, не будучи в таком гневе, как достопочтенный отец, отказался. Его ремесло приучило его быть осторожным.

Зная, что испанское управление, кто бы ни был во главе его, отличается твердостью, он отлично понимал, что жизнь его пропадет ни за грош, ни за денежку, если он исполнит распоряжение монаха вопреки



моему приказанию. Вооруженная-то сила была у меня, а не у отца Бернардо, и потому он не тронулся с места.

Видя это, доминиканец вырвал из его рук горящую головню и бросил ее в костер, наваленный около мадемуазель де Бреголль. Посыпались искры, и через секунду она была объята пламенем с головы до ног.

Я предвидел это. Пришпорив лошадь, я сам не знаю, каким образом вскочил на эшафот. В два прыжка я очутился у столба и шпагой разбросал загоревшиеся уже ветви. Они едва горели, отсырев на утреннем тумане; но связка хвороста, брошенная на середину костра, занялась и зажгла рубашку осужденной, составлявшую ее единственное одеяние. Ветер, дувший сзади, внезапным порывом надул тонкое полотно навстречу пламени, которое уничтожило его в одну минуту. Горящие клочья разлетались по всей площади, как огненные языки, оставляя ее обнаженной перед всеми зрителями. Она осталась одна невредимой. Остатки рубашки спали с нее, и сильный порыв ветра потушил пламя. Ее густые черные волосы одни прикрывали теперь ее наготу и развевались по ветру.

Вдруг произошло чудо — чудо для тех, кто верит в чудеса. Минуту я стоял перед нею в полном оцепенении, ибо никогда мне не приходилось видеть до такой степени совершенной фигуры. Несмотря на то что ее пытали жестоко, на ее теле пытка не оставила никаких следов. Руки и ноги ее были связаны веревками. С минуту я против воли не мог отвести от нее глаз, потом быстро сорвал с себя плащ и, накинув его ей на плечи, обрубил шпагой веревки.

Мадемуазель де Бреголль не промолвила ни слова. Чувствуя свою наготу, она гордо смотрела на толпу. Потом ее взгляд встретился с моим, и какое-то странное выражение мелькнуло в нем.

Сзади меня в толпе начался сильный шум. На площади послышались крики. Пусть они кричат, ведь такое зрелище им приходится видеть не каждый день. В Голландии не часто бывает, что добыча, уже возведенная на эшафот, ускользает от смерти, и, пожалуй, кто-нибудь даже разочаровался, простояв здесь так долго.

Я повернулся лицом к монаху. Он бросил мне вызов и проиграл свою игру. Если когда-нибудь лицо человека походило на дьявола, то это было именно теперь. Он поднял руку с крестом, и я видел, что он хочет призвать на мою голову проклятие, проклятие самое страшное,

которое когда-либо изрыгали монашеские уста.

Что касается меня, то я готов был отнестись ко всему этому как к шутловству. Но никогда нельзя быть уверенным в том, какое действие произведет подобная сцена на настроение толпы. В мои расчеты не входило отпустить его с площади триумфатором, находящимся под покровительством церкви, которая может осуждать всех, но сама защищена от всякого осуждения.

— Слушайте, дон Бернардо Балестер,— сказал я тихо, но явственно, — если вы вздумаете поднять руку и произнести какое-нибудь проклятие, я истерзаю вас в куски на дыбе, применять которую я умею лучше, чем вы, быть может, думаете. Не воображайте, что эти черные и белые лохмотья на теле устрашат меня. Мне случалось делать еще и не такие дела, как пытаться какого-то монаха. Вам никто не давал полномочий, и ссылка на них не защитит вас.

При этих словах подошел фон Виллингер со своими людьми.

— Вы совершенно в моей власти. Это лютеране, и половина моего отряда состоит из них. Если вы не покоритесь мне немедленно, то, клянусь небом, я велю рвать вас на куски, и пока ваши друзья услышат о вашей судьбе,— если только услышат,— ваш труп будет гнить в склепах Гертруденберга.

Мой тон, очевидно, испугал его. Кровь бросилась мне в голову, а когда я в гневе, то, говорят, в моих глазах есть что-то страшное. И видит Бог, я сдержал бы свои слова. После того что я уже сделал, остальное было пустяки.

Рука монаха бессильно опустилась.

— Вы обещаете отпустить меня без всякого вреда? — пробормотал он.

— Я обещаю пощадить вас, если вы немедленно будете повиноваться. Не больше. Этого довольно.

Он взглянул на меня с яростью, но опять его глаза опустились перед моим взором.

— Что вы хотите со мной сделать? — спросил он.

— Это вы услышите потом. Герр фон Виллингер, вы будете сопровождать почтенного отца до его жилища. А то народ может забыть, что даже грешный монах пользуется привилегиями своего сана. Поэтому вы должны караулить его в его комнате впредь до дальнейших распоряжений. Вы отвечаете мне за его сохранность.

Когда я шел обратно, я по-немецки шепнул Виллингеру:

— Не позволяйте ему видаться ни с кем. Не давайте ему возможности написать ни строчки и не позволяйте посылать никаких вестей. Вы знаете короля и понимаете, что я вручаю вам свою судьбу. Пусть он хорошенько попостится, это будет ему на пользу.

— Не беспокойтесь, дон Хаим,— отвечал немец.— Я стряпать для него не буду. Мне все это представляется иначе, и я польщен вашим доверием.

Когда я сошел с эшафота и хотел сесть на лошадь, народ ринулся ко мне, выражая свою радость громкими криками. Женщины и дети осыпали меня благодарностями... и старались целовать мои руки. Мадемуазель де Бреголь, казалось, пользовалась любовью среди женщин — вещь довольно редкая.

— Я не заслужил ваших благодарностей, — сказал я.— Я только совершил правосудие. Довольно благодарностей,— строго сказал я бургомистру.— Отведите эту женщину домой, и пусть ей там будет оказан уход, которого требует ее состояние. Она должна оставаться под строгим присмотром так, чтобы никто из ее друзей не имел к ней доступа. Ответственность за исполнение моих приказаний я возлагаю на вас.

Бургомистр важно поклонился.

— Ваше приказание будет исполнено. С остальными двумя осужденными поступать таким же образом?

— Конечно, конечно.

Я совсем забыл о них. Мне было решительно все равно, отправятся ли они на тот свет теперь или потом. Да им, истерзанным на пытке, по-видимому, это было все равно.

Бургомистр поклонился вторично и, подозревая одного из своих подчиненных, о чем-то стал с ним совещаться.

— Больше не будет каких-либо приказаний? — спросил он.

— Нет, никаких.

— В таком случае позвольте мне просить вас пожаловать в городскую ратушу принять ключи от города и приветствие от городского совета. Я буду счастлив, если после этого вы соблаговолите посетить мой скромный дом, чтобы отдохнуть с дороги.

— Благодарю вас. Я не премину быть у вас. А теперь едем!

Бургомистр выступил вперед и стал кричать:

— Дорогу, расступитесь! Дайте дорогу губернатору города!

Толпа медленно расступилась, и впереди нас оказалось достаточное пространство, чтобы мы могли тронуться в путь. Все время, пока мы двигались между двумя живыми стенами, не прекращался громкий крик:

— Да здравствует дон Хаим де Хорквера!

Я остановился и крикнул:

— Благодарю вас, добрые люди! Не кричите: да здравствует дон Хаим, а кричите: да здравствует король Филипп! Поверьте, король ищет справедливости. Он не хочет, чтобы в его владениях были еретики и ведьмы. Их никто не потерпит в христианском государстве, и их нужно жечь. Но он хочет, чтобы их жгли поделом. Поэтому кричите: да здравствует король Филипп!

— Да здравствует король Филипп! — закричали они, хотя и не с прежним энтузиазмом.

Я и не подозревал, что приобрести популярность так легко. Еще удивительнее было то, что я сделал популярным короля Филиппа,— вещь, которую не всякий испанский губернатор решится проделать в Голландии.

Это показывает, как легко можно было бы управлять этой страной, в которой пролито столько крови. Если б только в Мадриде взялись за ум! Но попробуйте поговорить с попами. Я рад, что они не слышали этих криков, сидя в Испании. Иначе они положили бы конец моей карьере.

Когда часа через два я шел вместе с бургомистром к нему в дом, на всем городе лежала полуденная тишина. Улицы были безмолвны и безлюдны. Воздух стал мягким, и в отдалении стлался мягкий туман, блестящий, свойственный северной осени. Пройдя ряд узких переулков, мы вышли на широкий канал. На нас хлынул поток света. Деревья, листья которых уже покраснели от утренних заморозков, стояли, как в огне. Дальний изгиб канала пропадал в синеватой дымке тумана.

На улицах уже чувствовалось холодное дыхание приближавшейся зимы, но здесь солнце еще светило ярко. В садах, доходивших до самого канала, еще цвели последние цветы — темная мальва и светлая вербена, и между ними носились туда-сюда пчелы, забывшие о времени года. А надо всем этим было сияющее небо с теплыми, густыми тонами на горизонте. Совсем не похоже на ту золотистую пыль, которой залита далекая Кордова. Красиво, впрочем, не менее.

Октябрьское солнце весело врывалось сквозь граненые окна в доме бургомистра ван дер Веерена. Широкими пятнами зеленого золота ложились его лучи на пол комнаты, в которую мы вошли. Я не успел ничего рассмотреть, так как, заслоня свет в окне, поднялась с кресла женщина и двинулась нам навстречу. Когда свет упал на ее лицо, я едва удержался, чтобы не крикнуть от изумления, так она была похожа на мадемуазель де Бреголль.

Между ними, конечно, было и различие, и прежде всего в наряде. Черные, как и у той, волосы были подобраны в золотую сетку, облечена она в костюм черного бархата. А ведь ту я видел без всяких одежд, с одной веревкой на ногах и руках. У этой была такая же изящная, но властная фигура, хотя она была, кажется, меньше ростом. Обе были совершенно не похожи на женщин, которых обыкновенно встречаешь в Голландии. Но между той, которая была на эшафоте, и этой, которая теперь стояла передо мной, была еще какая-то разница, которую я скорее почувствовал, чем заметил, с первой встречи.

Голос моего хозяина прервал мои размышления.

— Это моя дочь, синьор,— сказал бургомистр.— Изабелла, это дон Хаим де Хорквера, граф Абенохара, назначенный губернатором нашего города. Ему подчинен весь город, мы сами и весь наш дом. Благодарю его за честь, которую он оказал нам своим посещением.

Девушка с достоинством поклонилась и сказала:

— Я слышала о вашем поступке, синьор. Город только об этом и говорит. Губернатор, который освобождает осужденного, хотя и несправедливо, за ведовство,— большая редкость и действительно заслуживает благодарности. Приношу вам мою нижайшую благодарность.

Она присела. В ее голосе слышалась, однако, ирония.

— Прошу, ваше превосходительство, извинить мою дочь за болтливый язык. Она еще очень молода, и я боюсь, что я избаловал ее. К тому же ни судьба, ни мы не были к ней суровы,— продолжал бургомистр, бросая на дочь нежный взгляд.— В городе стало накапливаться озлобление, но ваше прибытие рассеяло это чувство.

— Я не знаю, разве я сказала что-нибудь неуместное, папа? — смиренно спросила молодая девушка.— В таком случае я очень жалею об этом. Извините меня, синьор.

Она положительно умна и смела.

— Извинять вас нет никакой надобности, синьорина,— отвечал я.

Мы говорили по-испански — язык, которым и она, и ее отец владели в совершенстве. В то время многие говорили на этом языке в Голландии. Это ведь был язык господ, и знание его могло иной раз спасти жизнь.

— Вы не сказали ничего неуместного, говоря вашими словами. Поверьте,— прибавил я, обращаясь к отцу,— что после всяких знаков покорности, которые мне изъясляли, встретиться с независимым настроением — большое удовольствие, особенно когда об этой независимости заявляют такие прелестные уста,— закончил я с поклоном.

— А мне казалось, что испанские губернаторы меньше всего любят это в наших голландских городах.

— Далеко не все. Что касается меня, то я люблю эту независимость, хотя бы для того, чтобы ее сломить

Ее глаза скользнули по мне, но прежде, чем она успела возразить, вмешался отец:

— Вместо того чтобы задерживать нашего гостя пустыми разговорами, покажи лучше его комнату. Ему пришлось совершить сегодня утром длинный переезд, и его превосходительство, без сомнения, захочет немного отдохнуть прежде, чем мы сядем за стол.

— Я к вашим услугам,— с поклоном сказал я.

— Попрошу вас следовать за мной, синьор,— и она пошла впереди меня наверх. Две служанки шли сзади нее, чтобы принести и сделать все, что будет нужно.

Она шла впереди меня легко и грациозно. Косые лучи солнца падали на ее прекрасное лицо, когда она поднималась по винтовой лестнице. Наконец мы дошли до отведенной мне комнаты — прелестного помещения с длинными и низкими окнами, через которые врывалось дыхание сада, перемешанное с запахом цветов, стоявших на окне.

Не раз приходилось мне испытывать чувство уюта, которое вызывают жилища в этой стране. Но сегодня я чувствовал что-то особенное и в этом безукоризненном постельном белье с дорогими кружевами по краям, в блестящем хрустале на полках, а главное, в ее присутствии, которое я ощущал более чем когда-либо. В этих голландских домах, отделанных темным дубом, царит удивительный уют, доказывающий, что и в таком скверном климате человек может

сделать свою жизнь приятной. Даже зимой, когда на дворе снег и туман, там гораздо теплее и удобнее, чем в моем родовом замке в Сиенне Моренье, хотя там лучи солнца жгучи с утра до ночи, а из его окон глаз охватывает всю золотистую равнину, по которой катит до Севильи свои волны Гвадалквивир.

Я хорошо помню, как стонал ветер, врываясь в окна, и как я думал о том, сколько богатства в этих небольших темных голландских домах. Но в наших голых, неуютных стенах где-нибудь в Новой Кастилии выросли люди, которые покорили весь свет, а здесь жил народ, который был завоеван. Но когда я следил за ее движениями, видел, как ее белые руки ловко и бесшумно ставили вещи на свое место, мне пришло на ум, что это тихое и красивое спокойствие тоже чего-нибудь да стоит.

Спокойствие! На что оно мне? Мы, герцог и все его заместники, посланы затем, чтобы принести меч. Сегодня утром я купил свое право на этот час спокойствия и, может быть, слишком дорогой ценой. Но я знал, что это не может долго продолжаться, и, как бы для того, чтобы нарушить охватившее меня очарование, я заговорил:

— Вы, очевидно, не особенно лестного мнения об испанских начальниках, синьорина, а тем более обо мне, хотя я со времени моего прибытия в Гертруденберг, кажется, не подавал поводов к этому и, может быть, и дал повод порицать мадридское правительство, но только не вам.

Она повернулась и взглянула мне прямо в лицо.

— О, нет, синьор,— ответила она и опять стала смотреть в сторону. — Вы совершили подвиг и, как вы сами сказали, только из справедливости. Бедная Марион! Я бы хотела знать, как она себя чувствует теперь, после того, как она уже приготовилась к смерти! Теперь она вдруг вернулась к жизни и, будем надеяться, не станет в этом раскаиваться.

Что она хотела этим сказать? Я едва верил своим ушам. Смысл ее речи был и темен, и в то же время ясен. Ее тон и манера говорить договаривали то, что осталось несказанным. У меня было такое чувство, как будто она ударила меня по лицу. Ведь она почти прямо сказала, что я спас донну Марион только для того, чтобы принести ее в жертву себе самому. Клянусь Богом, эта мысль ни разу не приходила мне в голову. Мой гнев и удивление на несколько минут лишили меня дара речи. Эта девушка, эта голландка смеет говорить со мной таким языком!

Я понимал, что она могла так говорить. Пять лет беспощадного угнетения привели голландский народ к отчаянию. Немало за это время было совершено жестокостей, ответственность за которые падает на многих. Естественно, что ей могла прийти в голову такая мысль. Но как она решилась высказать ее мне в лицо! Мне, в руках которого была жизнь и ее и ее отца! Я ненавижу говорить резко с дамами, но тут был исключительный случай. Как необычны были ее слова, так же необычен и откровенен был и мой ответ.

— Синьорина,— сказал я,— ваши слова довольно странны. Я не знаю — я много лет не был здесь,— не вошло ли в обычай в этой стране оскорблять своих гостей. Но в Испании этого не делается, и я к этому не привык. Поэтому позвольте мне оставить ваш дом, извинившись за беспокойство, которое я вам доставил.

Я поклонился и пошел было назад.

На этот раз она действительно испугалась или по крайней мере сделала вид, что испугалась.

— Извините меня, синьор, я против своей воли сделала вам неприятность. Сегодня для меня неудачный день. Прошу вас остаться у нас, хотя бы для того, чтобы не наказывать моего отца за мои безрассудные слова.

— Когда женщина просит извинения, то извинение готово прежде, чем она кончит говорить. Но будьте осторожнее, синьорина. В каждом человеке два существа — хорошее и дурное. Можно вызвать в нем то или другое, смотря по тому, до какой струны дотронешься. Смотрите, чтобы никогда не задевать дурные струны.

— Постараюсь, синьор,— гордо отвечала она, принимая прежний тон.— Вот прибыл ваш человек с вещами. С вашего позволения, я вас теперь покину. Если вам что-нибудь понадобится, прошу распорядиться в этом доме, как в своем собственном. *Esta es la casa de Usted!*

И, произнеся эту сакраментальную испанскую формулу, означающую приветствие, она, поклонившись, прошла мимо меня с тем же надменным и высокомерным видом.

Таков был первый час, проведенный мною в этом доме, и я кисло улыбался, воображая, что будет дальше. Мой час спокойствия длился не долго, и это, пожалуй, было лучше.

Пока мой человек снимал с меня доспехи, я продолжал размышлять о том, что случилось. Все складывалось как-то странно. Все покорялось



моей воле. Я вырвал у церкви ее жертвы и сокрушил ее сопротивление — вещь неслыханная. С другой стороны, народ, на который я был послан наложить силою ярмо, приветствовал меня как своего избавителя. Приветствовали даже короля Филиппа. Мне стало смешно. Я помню еще то мрачное молчание, с которым встретили его прощение в Антверпене три года тому назад.

Да, опоздай я на полчаса, все было бы кончено. Мадемуазель де Бреголль уже нельзя было бы помочь ничем, или же, если бы народ вздумал броситься на эшафот, я против воли должен был бы помочь ее сжечь.

Я или судьба сделали все это? Я всегда думал, что человек создает свою судьбу при помощи своего меча и ума, но так ли это? Раз или два мне казалось, что сильная воля способна совершить даже невозможное. Странно, что вызывающим тоном впервые говорит со мной слабая девушка и притом в ее доме, где я имел бы право найти приветливость и ровность обращения. Но я согну или даже переломлю ее.

— Какой костюм прикажете вынуть, синьор? — вывел меня из задумчивости голос моего слуги Диего.

— Черный,— рассеянно сказал я.— Диего, что ты думаешь о происшествии сегодняшнего утра?

Диего — солдат, прошедший тяжелую школу, но он ухаживает за мною, как едва ли могла бы ухаживать любая женщина. Он слепо повиновался бы всему, что я ему прикажу. Он родился в Пиренеях, недалеко от гугенотской Наварры, и, по-видимому, сам гугенот, хотя и посещает мессу самым аккуратным образом. Об его прошлой жизни мне ничего не известно. По-испански он говорит хорошо, хотя он и не испанец. Несколько лет тому назад я подобрал его на дороге умирающим от ран, усталости и голода, и с тех пор он привязался ко мне, как верный пес. Он никогда не распространяется о том, что с ним было, а я его об этом не расспрашивал. Однажды он, впрочем, рассказал мне какую-то длинную историю, в которой я не верил ни одному слову. Я находил его полезным для себя, и мне не хотелось, ради удовлетворения своего любопытства, лишаться его услуг.

— Все это было очень интересно, синьор,— отвечал он на мой вопрос.— Мне было очень приятно видеть все это. Но это опасно. Берегитесь этого монаха, синьор. В Наварре есть поговорка: не давай ожить оглушенной змее. Когда она очнется, она делается вдвое опаснее.

— Ваши горцы — народ умный, Диего.

— Им приходится быть умными, синьор. Жизнь на границе не всегда протекает безопасно.

Спустившись вниз к обеду, я нашел ван дер Веерена и его дочь, которые ждали меня. Мы прошли в столовую — длинную, просторную комнату. Стены ее были отделаны панелями, а потолок — резным дубом. Столовая, как и все в доме, имела солидный и великолепный вид. Ее, очевидно, строили поколения богатые и любившие искусство. Стол был покрыт тонкой скатертью и уставлен дорогим серебром. Графины были из драгоценного венецианского хрусталя. Комната освещалась мягко и не особенно ярко благодаря тому, что была не высока, а стены были отделаны темным дубом. Лучи осеннего солнца, врываясь в окно, играли на посуде и хрустале. Велика была разница между огромной, открытой площадью с раздраженной толпой, теснившейся вокруг эшафота, между страшным напряжением последних минут утренних событий и этой уютной тишиной, и хотя я — старый бродяга, привыкший уже к быстрым переменам места действия, но на этот раз и я почувствовал эту перемену. Через открытые окна волною вливался из сада аромат цветов, снаружи мягко жужжали насекомые, а донна Изабелла, сидевшая рядом со мной, казалось, готова была исполнить мое малейшее желание. В ответ на замечание, сделанное мною час тому назад, она, видимо, хотела показать, что и она умеет исполнять обязанности хозяйки.

Она переменяла свой туалет — желал бы я знать, по своему собственному побуждению или по настоянию своего отца. На ней было платье из светло-голубого бархата, открывавшее шею, не менее красивую, чем у мадемуазель де Бреголь. Только у нее был более темный цвет кожи. Хотя она была более нежного сложения, сходство их очень бросилось мне в глаза. Вероятно, я скоро узнаю его причину.

Теперь я никак не могу жаловаться на ее обращение. И она, и ее отец безукоризненно исполняли обязанности гостеприимных хозяев и притом с таким достоинством, что не уступали любому испанскому гранду. И мне опять приходилось удивляться тому, что здесь, в маленьком городке на окраине Брабанта, я нашел дом, обитатели которого не посрамили бы и придворное общество. Мне было известно, что торговые короли Аугсбурга или Антверпена живут действительно по-королевски, но я не ожидал встретить такого короля здесь.

Впрочем, я припомнил, что раз или два я слышал о богатстве ван дер Веерена, но, не будучи поклонником денег, я не обратил на это внимания. Я не богат, но могу жить без всяких субсидий от членов фламандских гильдий. Теперь я припомнил все, что слышал раньше о ван дер Веерене, и это отчасти объяснило мне высокомерный задор его дочери. Нет сомнения, что им уже не однажды приходилось покупать свою безопасность, и в ней укоренилась мысль, что они все могут сделать благодаря своему богатству. Разве она не в состоянии предложить денежное вознаграждение за каждое оскорбление? Однако найдутся люди, которых нельзя купить — деньгами, по крайней мере.

Очевидно, у ван дер Веерена были уважительные причины поселиться в этом городке, который для них, вероятно, кажется лачугой после Брюсселя и Антверпена. Мне кажется, что я могу угадать эти причины. Одно только обстоятельство сбивало меня с толку. Многие вещи в их доме напоминали мне об Испании, и я убежден, что у моего хозяина течет в жилах примесь испанской крови. Правда, донна Изабелла, по-видимому, недолгобливает нас, но это ничего не доказывает.

— Позвольте спросить,— заговорил я,— были ли вы когда-нибудь в Испании? Вы отлично говорите по-испански. Хотя всякий, кто исправляет какую-нибудь общественную должность, и обязан знать оба языка, но ваш выговор — ваш и донны Изабеллы — до такой степени чист и вы так хорошо знакомы с испанскими обычаями, что было бы положительно чудом встретить это в человеке, который никогда не видал солнечной Кастилии или в жилах которого нет испанской крови.

— Вы правы в последнем случае, синьор. Моя мать, Изабелла де Германец, была родом из Вальядолиды. Она всегда чтит обычаи и язык своей родины и научила своих детей чтить то и другое. Хотя я и не стыжусь быть голландцем, но я мечтаю о том, что хорошо бы и нам иметь свойства, которыми наделены вы,— умеренность, народную гордость и безмерную ловкость, которые сделали вас владыками мира.

Я поклонился в ответ на этот комплимент и отвечал:

— У каждого народа свои добродетели. Я всегда думал о том, какие блестящие результаты могли бы получиться, если бы обе нации мирно слились. Но времена этому, кажется, не благоприятствуют.

Мы продолжали говорить на эту тему, обменявшись парой взаимных комплиментов. Заметив, что луч солнца бьет мне прямо в лицо, донна

Изабелла велела служанке спустить штору. Она говорила с ней довольно тихо и на местном жаргоне, тем не менее я хорошо понял ее слова.

— Не беспокойтесь, пусть солнце светит свободно,— сказал я по-голландски,— если только оно не беспокоит вас или вашего отца. Нам осталось не много солнечных дней, и мне приятно чувствовать теплоту на лице.

Я сказал это отчасти искренно, отчасти нарочно. Не желая знать ее секретов, я хотел дать ей понять, чтобы она не говорила обо мне в моем присутствии все, что ей захочется.

Она взглянула на меня с изумлением, потом, приказав служанке оставить штору по-прежнему, обратилась ко мне:

— Вы отлично говорите по-голландски, синьор. Даже наш жаргон — не секрет для вас. Не многие из ваших соотечественников сделали такие успехи. Не многие из них сочли бы награду достойной их трудов.

— С моей стороны тут и трудов почти не было. Я сам наполовину голландец. Мои испанские титулы достались мне от моей матери. Мой отец был испанцем только наполовину. Хотя я родился здесь, но воспитывался в Испании и теперь стал более испанцем, чем голландцем. За вашим столом, впрочем, со мной происходит обратное превращение, и я чувствую в эти минуты, что одинаково принадлежу обоим народам, — закончил я с поклоном.

На это донна Изабелла как бы проронила несколько слов, от которых вся кровь бросилась мне в голову:

— Голландец и на иностранной службе! Непонятно!

— Изабелла! — вскричал отец.

— Синьорита,— спокойно отвечал я,— если тут есть что-нибудь непонятное, то только для меня. Я служу королю Филиппу, нашему общему государю.

— Мы все делаем то же самое, дитя мое,— вмешался ван дер Веерен.— Ты женщина, потому этого не понимаешь. Извините, синьор.

— Охотно,— отвечал я.— Женщины пользуются привилегией говорить все, что им вздумается.

— И это всегда, синьор? — тем же подозрительным тоном заговорила она, опустив глаза.

— Всегда, синьорита. Есть речи, которые мужчине могут стоить жизни.

— А женщине?

— А женщине это, конечно, проходит даром,— отвечал я, смеясь.

— Вы вернули мне чувство безопасности, синьор. Я было думала...  
впрочем, вы успокоили меня.

— Извините, я опять не понимаю вас,— холодно возразил я.— Вы говорите загадками.

Я, конечно, отлично понимал ее, и, клянусь Богом, если она будет так продолжать, то когда-нибудь ее опасения окажутся справедливыми. Ее отец глядел на нее со страхом, но он не мог подавить в ней вспышки южной крови, которая текла в ее жилах. Хотя я и был рассержен на нее, но ее мужество и высокомерное обращение действовали на меня подкупающим образом, точно так же, как ее красота и странная манера держать себя.

— У окружающих меня я пользуюсь репутацией большой искусницы на загадки. Когда я была молоденькой, я сама выдумывала их для своих сверстников. Позвольте же мне и теперь предложить их губернатору его величества короля Филиппа. Не угодно ли вам будет сначала попробовать этого вина? — продолжала она, вдруг изменяя тон и манеру.— Этот виноград вырос, правда, не в Испании, а на Рейне, но, говорят, он отличается удивительными качествами. Может быть, он поможет вам разрешить загадки, если вы пожелаете.

— Попробую, синьорита, если только это не будет стоить безопасности мне... и вам,— прибавил я тихим голосом, который могла слышать только она.

Я поднял свой стакан:

— За ваше здоровье.

— И да здравствуют Голландия и Испания,— прибавил я по-голландски.— При таком тосте все мы можем выпить, думая каждый о своем народе.

Обед кончился, но мы все еще сидели за столом перед стаканами с золотистым вином. Солнце медленно уходило от окон. Освещение комнаты стало не так ярко, и белая грудь донны Изабеллы выделялась еще прекраснее на фоне сгущавшихся за ней сумерек. Кругом нас стояла глубокая тишина, казалось, жизнь остановилась на мгновение. Но судьба шла своей дорогой и именно теперь подготавливала беспокойство и борьбу. Впрочем, это так и должно быть: каждый час шлет к нам свои требования, и надо уметь принимать их разумно и

сознательно.

— Мингерр,— обратился я к своему хозяину после паузы,— надо окончательно уладить дело мадемуазель де Бреголль, и я хотел бы предложить вам несколько вопросов.

В эту минуту, очевидно, по знаку, данному отцом, донна Изабелла поднялась и сказала:

— Мне, вероятно, лучше оставить вас, синьор, пока вы будете говорить о таких важных вещах.

Но у меня были причины желать, чтобы она осталась.

— Вы доставите мне удовольствие, синьорита, оставшись здесь, если, конечно, это не доставляет вам неприятности. Дамы часто замечают вещи, которые ускользают от нашего грубого понимания. Может быть, вы окажетесь нам полезны. Мадемуазель де Бреголль водворена к себе? — спросил я бургомистра.

— Она ждет приказания вашего превосходительства. Дом ее охраняется, она к вашим услугам.

— Я надеюсь, что с ней обращаются, как подобает ее положению, которое, судя по ее лицу и имени, не из последних?

— Она двоюродная сестра моей дочери. Ее отец — брат моей жены. Они близнецы. Они — французы, но давно уже поселились в Голландии. Я уверен, что вы заметили ее сходство с моей дочерью.

— Это правда. Сходство поразительное. Я вдвойне рад, что прибыл вовремя и мог спасти ее. Я хотел бы освободить ее совсем, так как не верю в ведьм, по крайней мере в том смысле, в каком их понимает отец Бернардо. По-моему, она виновна только в том, что слишком красива. Но я должен объяснить вам свое положение. Пока я управляю здешним городом, моя воля — закон. Ваш город подозревается в приготовлениях к мятежу, и я послан подавить его. Для этого выбрали меня, потому что я пользуюсь репутацией человека беспощадного, когда нужно. Моя власть ничем не ограничена. Кого я возьму под свою защиту, тот будет в полной безопасности; кого же я захочу погубить, тот погиб.

Лица моих слушателей несколько побледнели, пока я говорил. Я готов ручаться, что донна Изабелла была в полной уверенности, что теперь-то я и выпускаю когти из-под своего бархатного одеяния. Но все это им нужно знать.

— Но меня могут отозвать, и тогда все то, что я сделал утром, и что, как вы изволили совершенно верно заметить, синьорита, представляется

в высшей степени редким поступком, может вызвать удивление в Брюсселе и Мадриде. Я назвал монаха обманщиком. Что ж, я этого отрицать не буду. Но если он не таков, то на имени осужденной непременно останется пятно и впоследствии процесс может открыться вновь. Для того чтобы предотвратить это, я должен иметь доказательства ее невиновности и злого обвинения ее инквизитором. Мы, то есть я и вы, можем догадываться, в чем тут дело, но этого недостаточно. Известно ли вам о каких-либо фактах?

— Все, что мне известно, едва ли можно назвать фактами. Инквизитор не позволял мне переговорить ни с Марион, ни с ее служанкой с тех пор, как они обе подверглись заключению. На это он, конечно, имел право. Но я уверен, что, если дело возникнет вновь, она будет выслушана, будут вызваны опять все свидетели, и тогда ее невиновность станет ясна.

— Может быть. Но это будет длинная процедура, а я не люблю ждать. Я отправлю донесение завтра утром, а там посмотрим. В чем, собственно говоря, она обвинялась?

— В ереси и в колдовстве,— медленно промолвил старый бургомистр.

— Ересь? Это, пожалуй, еще хуже, чем колдовство! Я уверен, что обвинение было неосновательно.

Я знал почти наверняка, что они все были реформатского вероисповедания, но не хотел, чтобы они открыли мне эту тайну.

— Единственная причина ее несчастья заключалась в ее красоте и добродетели,— отвечала донна Изабелла, гневно блеснув глазами.

Как, однако, свободно она говорит о подобных вещах! Монахи и инквизиция многому научили женщин.

— Изабелла! — воскликнул ее отец.

— Не бойтесь, я не принадлежу к числу ханжей. Я думаю, что я доказал это сегодня утром.

— Это правда. Инквизитор, впрочем, не настаивал на обвинении в ереси. По крайней мере я не слышал потом об этом ничего, иначе я сделал бы нужные шаги, чтобы спасти ее. В окончательном приговоре она была объявлена виновной в колдовстве и предана в руки светских властей. А это значило: эшафот.

Теперь мне стало все ясно. Сначала distinguished отец поднял обвинение в ереси, но, сообразив потом, что весь город заражен ею и

что сжечь всех нельзя, он благоразумно отбросил эту часть обвинения и ухватился за ведовство, которое, по его расчетам, затронет любопытство многих. Ведь протестанты также любят посмотреть при случае, как жгут ведьму.

— Мы знали, что процесс велся не совсем правильно и не по закону, — продолжал бургомистр. — Он не выставлял объявления в суде, при нем не было ассистента, как вы сами изволили указать. Мы знали, что совет может отменить этот приговор, но мы не смели действовать. Иначе мы пришли бы в столкновение с синьором Лопецом и его гарнизоном. Если бы правительство не признало наших соображений и приняло бы сторону инквизиции, как случается довольно часто, то на наш город могло бы обрушиться страшное мщение.

— В чем же, собственно, ее обвиняли?

— Позвольте объяснить вам все, синьор. Месяц тому назад в нашем городе была оставлена какими-то бродягами маленькая девочка-француженка. Она заболела, и ее не захотели взять с собой. Марион сжалась над нею, потому что она была бедна и бесприютна, и взяла ее к себе с намерением отправить ее во Францию, когда она подрастет. Девочка отличалась странным, возбужденным поведением, и некоторые думали, что она одержима нечистой силой. На самом деле она была совершенно безвредна. Нет сомнения, что инквизитор видел ее или слышал о ней. Однажды, когда Марион не было дома, к ней явились его люди и взяли девочку. Я не могу вам в точности сказать, как все это было, но девочка вырвалась и прибежала домой. Через два дня Марион была заключена в тюрьму и на нее было возведено обвинение в колдовстве. Сначала инквизитор не был, по-видимому, так вооружен против нее и обещал освободить ее, если найдет ее невиновной. Что касается доказательств против нее, то, как я только вчера узнал, они были обычного типа: порча воды в колодцах, следы копыт на полу ее комнаты, кто-то даже сказал, что видел, как она летела по воздуху. Когда я возражал, что в тот вечер, о котором шла речь, Марион была с нами, инквизитор стал объяснять мне, что ведьмы могут быть видимы одновременно в двух местах: ведьма идет по своим делам, а дьявол садится на ее место, принимая ее внешний вид. Хуже всего было то, что у одной женщины вдруг умер ребенок, который только что был совершенно здоров и до которого дотронулась Марион. Соседи говорили мне, что ребенок этот наелся сырых слив. Большинство было



уверено в том, что он умер не от прикосновения Марион. Она ведь родилась здесь, и все ее знают, хотя она несколько лет жила с нами в Брюсселе. Она добрая девушка, которую все любят. В народе началось волнение, и слава богу, что вы прибыли вовремя, синьор. Не случись этого, я не могу сказать, что могло произойти.

— Слава богу, что все произошло так. Проявись малейшая попытка к бунту, мы были бы принуждены поддерживать авторитет короля и церкви, и обвиняемая была бы сожжена. Горожане не спасли бы ее, ибо я смел бы их с площади, как пыль.

— Не очень-то вы церемонитесь с нами, бедными голландцами,— вставила свое слово донна Изабелла.

— Я говорю только о факте, как он совершился бы, не вкладывая в мои слова ни похвалы, ни порицания.

— Ты не понимаешь таких дел, дитя мое,— строго сказал ван дер Веерен.— Дон Хаим прав! Он бы это сделал.

— Вернемся к делу. Вам известны имена главных свидетелей в этом деле?

— Да, синьор. Инквизитор сказал мне их в виде особой любезности, очевидно, желая показать, что он ведет дело вполне основательно. Свидетелями выступили некоторые зажиточные и уважаемые женщины, хотя говорят, что это были...

Он, видимо, подыскивал слово. Я помог ему:

— Подкупленные свидетели. Доносчики инквизиции?

— Вы сами употребили это выражение, синьор, а не я.

— Да, я употребил его. Их имена?

— Анна ван Линден и Бригитта Дорн.

Я вынул свою записную книжку и заглянул в нее.

— Они не значатся у меня в списке, и это очень хорошо. Иначе с ними трудно было бы иметь дело. Но это только показывает, как легко осудить человека невинно. Здесь у меня записаны имена двух-трех достойных доверия лиц, которые живут в вашем городе и доставляют сведения об еретиках во славу Божию и для охранения Его царства. Этих двух среди них нет. Они не будут больше причинять вред. Но на вашем месте я бы не забывал, что остаются другие. К сожалению, я должен сказать, что этот народ не особенно сокрушается об ошибках, которые ему иногда приходится делать.

Мой хозяин и его дочь удивляли меня. В самом деле, как они могли

жить здесь под страхом вечной опасности, как они могли сидеть здесь сложа руки? Вероятно, они надеялись на свое богатство. Но я уверен, что в данном случае они не жалели денег, и тем не менее это им не помогло.

Может наступить день, когда и белое тело донны Изабеллы будет вздернуто на дыбу, подобно ее двоюродной сестре, если этого захотят те, кто здесь владыки.

Как будто угадав мои мысли, она сказала:

— Мы отлично сознаем опасность, синьор, но надеемся на вашу справедливость.

Так ли это? Действительно ли она видела только справедливость сегодня утром?

— Благодарю вас, синьорита. Но ведь я могу уехать отсюда, как я уже говорил. И я не стал бы слишком много полагаться на справедливость. Это вещь обоюдоострая, и все зависит от того, с какой стороны вы на нее посмотрите. Во имя справедливости совершено было изумительное дело. Я запишу оба имени, которые вы мне сообщили. Не можете ли вы сообщить мне еще что-нибудь?

— Сначала я и подумать не мог, чтобы все это кончилось так,— сказал ван дер Веерен.— Меня уведомили о состоявшемся приговоре только вчера вечером. Мы, то есть я и городской совет, сделали все возможное, чтобы смягчить инквизитора, но он и слышать ничего не хотел.

— А вы, синьорита, не можете ли что-нибудь сообщить мне?

— Очень немного. Марион как-то говорила мне, что ей не нравятся манеры и разговоры этого инквизитора. Больше она мне ничего не говорила, а я не передавала этого разговора отцу. Нам ведь нередко приходится слышать от духовных лиц такие слова, о которых лучше забывать.

К сожалению, это правда. Происходит это оттого, что мы делаем из каждого монаха, каждого священника нечто большее, чем простой человек со всеми его слабостями. Если еретики желают изменить такой взгляд, то мне кажется, их нельзя за это порицать.

— И это все, что вам известно? — спросил я.

— Все, синьор!

Действительно, немного. Но я был уверен, что самые интересные вещи мне предстоит узнать от самой Марион.

— Господин фон дер Веерен, благоволите уведомить мадемуазель де Бреголль, что я желал бы ее видеть и прошу ее пожаловать сегодня вечером сюда, в ваш дом. Конечно, если она в состоянии прийти. Кажется, она не получила особых повреждений.

— Хотя Изабелла и не видала ее, но ей говорили, что на Марион не осталось никаких следов пытки. Это удивительно.

Для меня это было вовсе не удивительно, но я был этому очень рад.

— Тем лучше,— сказал я.— Теперь три часа. Назначим свидание в шесть, если это для нее удобно. Передайте ей, что, хотя она и не пострадала, тем не менее я очень сожалею, что пришлось потревожить ее сегодня, когда ей нужно было бы отдохнуть. Но это делается для ее же блага. Дело не терпит. Итак, свидание будет в шесть часов. Может быть, донна Изабелла не откажется присутствовать при нашем разговоре? Ее присутствие могло бы ободрить ее двоюродную сестру.

— Я готова, если вы этого желаете.

— Дело не во мне, а в мадемуазель де Бреголль. Стало быть, если она того пожелает. У меня нет права голоса в этом деле. Вы не откажетесь,— обратился я к бургомистру,— лично отправиться к мадемуазель де Бреголль и передать ей мою просьбу. Прошу только об одном: я до сих пор не знаю, что было с ней в тюрьме. Но что бы там ни было, я советую ей держать все это в строгой тайне. Мы все добрые католики и должны надеяться, что поступок досточтимого отца Балестера является беспримерным в истории католической церкви. Мы не должны допускать, чтобы ее авторитет пострадал из-за какого-нибудь плохого монаха. Что касается других, то это добрые и святые люди. Было бы грешно, а главное, неблагоразумно говорить о них дурно. Итак, позвольте мне не задерживать вас более, у меня тоже немало дел. Еще раз позвольте мне поблагодарить вас за ваше радушное гостеприимство.

— Мы должны благодарить вас,— отвечал фон дер Веерен.

— Вы оказали нам слишком много чести, ведь вы наш повелитель,— вставила дочь.

— Я губернатор города Гертруденберга и ваш покорный слуга, синьорита,— отвечал я, прощаясь.

Вернувшись к себе в комнату, я позвал Диего:

— Иди и отыщи этих двух женщин.

Я написал их имена на записке и отдал ему клочок бумаги. Диего

умел читать и писать не хуже любого писца.

— Это главные свидетельницы в процессе де Бреголль, и я хотел бы переговорить с ними. Я имел основания сделать то, что я сделал. Но народ не должен думать, что король Филипп вдруг проникся нежностью к еретикам. Было бы большой ошибкой так думать. Поэтому я хочу вникнуть как следует в это дело и хочу знать, что они показали. Понял?

— Понял, синьор,— кивнул головой Диего.

— Возьми с собой двух-трех человек. Но если тебе удастся уговорить их явиться сюда добровольно, то это избавит нас от лишних хлопот. Приведи их в городскую тюрьму, где я буду через час.

Диего ушел. Он довольно сносно говорит по-голландски. Иногда он и делает ошибки, но это не важно в данном случае. Важно было одно — избежать осложнений.

Приближаясь к городской тюрьме, я опять почувствовал удивление, зачем все это я сделал сегодня. Из-за справедливости, которая в конце концов не есть справедливость? Ведь мы не можем загладить вред, причиненный одному, благодеяниями, оказанными другому. Мы можем, конечно, надеяться расположить в свою пользу небеса и избавиться от ада, поставив известное количество свечей пред алтарем. Так для чего же я все это сделал? Ведь я не какой-нибудь странствующий рыцарь, рыскающий по белу свету с целью восстановления справедливости и спасения дам. В наше время для человека, который решился на такое путешествие, нашлось бы слишком много дел и он уехал бы недалеко. Для чего я все это сделал? Ответа не было. Может быть, под влиянием минуты? Я остановился на этом соображении и даже повеселел на некоторое время.

Я медленно шел по улицам. Было тепло на послеобеденном солнышке. На улицах толпился народ, который снимал шапки при моем приближении и почтительно давал мне дорогу. Наконец я прибыл в тюрьму и прочитал протокол по этому делу. Я, конечно, не ожидал, чтобы этот акт дал мне многое. Так оно и вышло в действительности. Протокол, в который были занесены все восклицания, вырвавшиеся у донны Марион во время пытки, был очень краток и показывал, что или она обладала необыкновенной силой воли, или же что ее щадили. Во всем остальном это был обычный вздор, подкрашенный показаниями сомнительных свидетелей. Всегда, когда женщину обвиняют в колдовстве, можно подыскать с дюжину лиц, которые готовы клятвенно

подтвердить это и которые с такой же готовностью откажутся от своих показаний, как скоро ее признают невиновной.

Я, зевнув, положил обратно этот документ, написанный на плохом латинском языке. От него веяло скукой. Я встал и принялся с любопытством осматривать внутренность здания. Пришлось вступить в разговор с палачом, который производил пытку. Он — одновременно палач и специалист по пытке: город слишком невелик, чтобы держать двух специалистов. Но и он не мог мне сообщить ничего или, может, и мог, но не хотел. Конечно, я мог бы заставить его заговорить, но я хотел испробовать другие средства. Палач ведь важная персона, и с ним нужно обращаться с почтением!

Итак, я решил выжидать. Ждать мне пришлось не очень долго. Диего ловко и быстро исполнил поручение и привел с собою двух женщин, из которых одна, к моему великому изумлению, была молода и красива, с великолепными рыжими волосами. Мне хотелось знать, что заставило эту рыжую красавицу взяться за такие дела.

— Синьор, вот Бригитта Дорн и Анна ван Линден. Они ждут ваших приказаний.

— Ты можешь идти, Диего.

Взглянув на обеих женщин, я сказал:

— Это вы дали главное показание против мадемуазель де Бреголль?

Одну минуту они колебались.

— Мы слышали разные толки о ней, ходившие в народе, и когда достопочтенный отец стал нас спрашивать, не известно ли нам чего-нибудь о ней, мы, конечно, сказали ему все, что знали,— осторожно ответили обе женщины.

— Ваше показание занесено в судебный протокол в том смысле, что вы возводите на мадемуазель де Бреголль очень тяжкое обвинение, и теперь дело в том, согласны ли вы взять на себя ответственность за то, что показывали только на основании непроверенных слухов, или же вы можете представить доказательство того, что вы показывали, повинуюсь приказанию инквизитора, который вам за это заплатил. Разница в обоих случаях, как видите, значительная.

— Мы просим извинения у вашего превосходительства.

— Ну?

— Мы, действительно... его преподобие просил нас...

— Я уже слышал об этом. Весь вопрос в том, желаете ли вы, чтобы с